

Еврейский тост

Памяти Ицхока-Лейбуша Переца, написавшего рассказ „Бонця”, и памяти папы, пересказавшего мне этот рассказ.

Папа любил книги. Но прочитал их совсем немного, так сложилась жизнь. Прочитанные папой книги, были в основном из школьной программы. Обязательная для прочтения литература. Хотя папа читал их в детстве, но запомнил на всю жизнь. И любил пересказывать их нам. Учился он сначала в еврейской школе, которая просуществовала после революции совсем недолго, папа успел в ней доучиться до середины четвёртого класса, потом эта школа превратилась в белорусскую и в папиной памяти еврейские и белорусские стихи зажили вместе, и он по-еврейски рассказывал нам:

*Старый Мордхе в лавочке продаёт судьбу,
Продаёт недорого: всего лишь по рублю,
А попросишь очень – за пятак отдаст,
Ну, а если очень, он отдаст и так...*

Папа считал поэтов особенными людьми и ставил их в своем ранге выше прозаиков. В стихах для него важна была не только слово, но и каждая запятая. А рассказы он мог пересказывать по-своему, вставляя свое разумение истории. Как он говорил, это не поэты, здесь можно и своё добавить, дурак не заметит, а умному, может, и понравится. Настоящими писателями папа считал только тех, чьи произведения были включены в учебники. Может, это было от того, что он был учителем, и святее учебника для него не было книги. Правда, он был учителем математики, а не литературы, но это дело не меняло. И когда я начал писать рассказы, его мечтой было увидеть мои произведения в учебнике.

– Вот когда тебя напечатают в учебнике, тогда и будешь Писателем, зуналэ, – говорил он, – а пока ты просто шрайбер! Пишущих много, а Писателей единицы!

Он не дождался того времени, когда меня напечатали в учебнике. Включили мой рассказ в учебник неожиданно, когда я уже жил в Америке, когда папы уже не было в живых, и я думаю, что не без папиной помощи: он замолвил за меня, там, на небесах, словце, ведь он очень хотел, чтобы я стал настоящим писателем.

Я не всё запомнил из папиных пересказов, но сейчас, что-то читая, вдруг вспоминаю, что мне это рассказывал папа, и рассказывал совсем по-иному, чем в книжке, как-то ближе к нашей местечковой жизни. В книжке, наверное, было красивее и лучше, но в папиных рассказах было правдивее, реальнее. Из каждого рассказа папа делал большой еврейский тост, как говорила мама. И всегда это было к месту и по делу. Эти рассказы папа повторял, ибо школьная программа была не очень большая, но всегда он в них находил новый поворот, и они слушались, как совершенно новая история. Чаще всего он повторял рассказ про Бонцю. Переехав в Америку, он почему-то перестал пересказывать рассказы и, вообще, говорить тосты и только где-то за несколько дней до своего конца вдруг вспомнил про Бонцю.

Я зашёл к нему, как всегда после работы, усталый, „затурканный”, как говорили у нас в Краснополье. Папа сидел один в темноте, у окна: мама ушла на курсы английского, и папа её ждал, глядя в окно. Он и в Краснополье любил сидеть у окна: там он каждого проходящего знал, а здесь просто смотрел на улицу. Моему приходу он обрадовался, засуетился, встал со стула, включил свет, и, неожиданно, сказал:

– Давай, зуналэ, выпьем, немножко. Я давно уже не пил вино. И котлетами закусим: мама очень вкусные сегодня сделала. Как дома. Они ещё горячие.

Как дома, для папы значило, как в Краснополье. Он вынул стаканы, достал из духовки кастрюльку с котлетами, дрожащей рукой налил по капле вина и сказал:

– И причина есть за что выпить. Знаешь, зуналэ, я вспомнил сегодня про Бонцю. Среди ночи проснулся и вспомнил. Я маленький был, когда читал про него, а вот вспомнил. И даже вспомнил, кто написал этот рассказ. Ицхок Перец! Наш меламед ещё шутил: у кого в произведениях больше перца: у Ицика Фефера (фефер на идиш перец) или Ицхока Перца? У тебя, сынок, время есть?

– Есть, – сказал я и папа обрадовался:

– Тогда я тебе расскажу про Бонцю. Хорошо?

– Хорошо, – сказал я.

И папа начал свой рассказ:

– Жил когда-то в местечке бедный человек Бонця. Беднее его не было в местечке никого, хоть работал он с утра до вечера. За что ни брался, в руках горело. На все руки мастером был. Но как говорится, дер далэс файфт ба аид ин алэ винкелах (был он бедный, как церковная крыса)! И туда надо копейка, и сюда. Десять детей в доме, теща больной, а тёща совсем ходить не может. Да и жена кашлем по ночам заходится. Всё на Бонце, и дом, и дети, и хозяйство. И все беды, что в еврейском местечке из дома в дом гуляют, у него подольше задерживаются. Но никогда Бонця на жизнь не жаловался. Главное, говорил, чтобы хуже не было, а лучше видно не про меня! Только хуже б не было! – каждый день молился. Долго ли, коротко ли тянул свою телегу, но пришёл его час и предстал он перед Б-гом. Стоит у светлого Дома огромная очередь и Бонця в конце стал. Только не успел стать, как подлетели к нему ангелы:

– Нет, – говорят ему, – для тебя в этом мире очереди! Хватит, – говорят, – в той жизни настоялся.

Но и здесь Бонця замахал руками: не привык он так: привык всегда всем уступать. И отлетели от него ангелы, и простоял он в очереди до самого конца. Не вперёд продвигался, а назад, все его обходили да посмеивались. Когда он в зал вошёл, никого уже позади не было. Стал на пороге Бонця, руки по швам вытянул, как солдат перед генералом, и ждёт судьбы. Посмотрел на него Б-г и сказал:

– Много я видал на своём веку людей, но такого безгрешного, как ты Бонця, не встречал. Никого ты в жизни не обидел, тебя все обижали. Ничего ты плохого в жизни не сделал, тебе все делали. А ты всё терпел. Ни разу не возроптал. Никогда ты о себе не думал, всё о других. А теперь я о тебе решил подумать: любое твоё желание исполню!

– Прости меня, Готуню, – сказал Бонця и глаза к полу опустил. – Если ты хочешь чтобы я счастливый был, то сделай так чтобы моя Хая-Двойра по ночам не кашляла, чтобы болезнь её прошла. Чтобы мой младшенький Менделе ходить научился, а то третий год, а он всё ногами мучается. И чтобы Хавочка жениха, наконец, нашла, и чтобы Цырул платье заимела, а то всё в обносках ходит. И чтобы Срулик смог в Валожин в ешиву поехать учиться: голова у него, что у ребе, а денег у нас на учёбу нет, и чтобы старший Нохэмка перестал батрачить у реб Пинхуса: извёл его хозяин, – всех детей вспомнил Бонця и про мишпоху не забыл: – И чтобы у тестя болезни прошли, и чтобы тёща на спину не жаловалась...

Ещё полчаса Бонця крейвым (родственников – идиш) вспоминал, потом шапку снял, стал голову чесать, ещё вспоминать. Зашикали на него ангелы, как так, перед Б-гом шапку снял, но Б-г погрозил им пальцем:

– Ша, Бонця думает!

А Бонця ещё ниже голову опустил, руки к груди прижал:

– Прости, Готуню! Чуть не забылся! Век бы себе не простил, если бы не вспомнил! Другу моему помоги, Даниловичу! Он не аид, но лучший друг у меня. Вместе с ним и в радости, и в беде были. Не раз выручали друг друга. Полгода назад он от свояков возвращался, через лес ехал, так на него господские лесорубы дерево свалили. Ещё сейчас не отошёл. Дай ему, Готуню, здоровье!

– Хорошо! – сказал Б-г и ласково улыбнувшись, спросил: – А теперь, Бонця, ты всех вспомнил?

– Всех, – кивнул Бонця.

Б-г хитровато посмотрел на ангелов и сказал:

– И здесь ты ухитрился про всех думать, а не про себя! А что ты для себя хочешь сейчас?

Бонця смущённо посмотрел на Б-га и тихо, едва слышно сказал:

– Мне бы сейчас бульбу и зувермилх (бульба – по-белорусски – картошка, зувермилх – на идиш – кислое молоко)! И больше мне, Готуню, ничего не надо.

Б-г улыбнулся, кивнул головой и перед Бонцем возник стол, а на нём пышущая жаром картошка и горлачик с кислым молоком. Бонця, как марципану, поднёс ко рту картошку и с таким аппетитом втянул в себя молоко, что даже у Б-га потекли слюнки, не говоря про ангелов. И Б-г, удивленно спросил:

– Бонця, ты каждый день ел такую же картошку и такое же молоко, и никогда у тебя не было от этого блюда такого восторга? Что с тобой сегодня?

– А сегодня я впервые ем, не зная забот! – ответил Бонця, не выпуская из рук горлачик.
– Ты же все мои заботы уладил, Готуню! А разве есть на свете счастье большее, чем кушать, зная, что всем твоим хорошо!

У папы заслезились глаза, он вытер их рукавом рубашки и тихо сказал:

– Выпьем, зуналэ, за то, что, хотя бы вы, мои детки, кушали свою бульбу с зувермилхом, не зная забот! А марципаны нам не надо!

И папа, будто на мгновение, помолодев, одним глотком выпил вино и по-солдатски занюхал рукавом. До котлет он в этот вечер не дотронулся. Это был последний тост, который он поднимал в жизни.

Марат БАСКИН.